

Евгения Каннак

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О СИРИНЕ

Теперь, когда прошло столько лет — больше полстолетия, — мне трудно, конечно, установить, когда именно я впервые встретила с молодым Набоковым. Знаю, что это было в Берлине, в середине 20-х годов, и что знакомство состоялось у Р.А. Татариновой, жены сотрудника русской газеты «Руль»; гостеприимная и общительная, она обладала особым даром: умела объединять людей различных взглядов и вкусов, — конечно, из русской интеллигенции. Вот у нее я и увидела впервые высокого, худого молодого человека; — почти белые тонкие брови разлетались от переносицы к вискам, взгляд серых глаз был пронзительный и насмешливый, и я, тогда очень молодая и застенчивая, подумала: ну, такому лучше на зубок не попадаться.

Но, конечно, я уже слышала о нем раньше, — кто в Берлине не знал о поэте Сирине? (Этот псевдоним В. Набоков выбрал, чтобы его не смешивали с отцом, В.Д. Набоковым). И, помню еще, до этой первой встречи пришла как-то ко мне, вместе с одной общей приятельницей, сестра В. Набокова, Ольга, и стала, — как он, по-петербургски картавя, — с увлечением и жаром читать нам его стихи.

Моя память навсегда сохранила такую строфу:

В платье бархатном, с огромным

Кружевным воротником
Ты стояла перед темным
И готическим окном.

Но, может быть, эти строки — вовсе не из напечатанных его стихов, а из совсем ранних, почти детских, которые он как-то читал у нас в кружке.

В Берлине, где, говорят, числилось до 200 000 русских эмигрантов и было несколько литературных объединений, Набоков участвовал, насколько мне известно, в двух: в кружке Татариновой (впоследствии, после смерти критика Ю.И. Айхенвальда, кружок стал называться его именем) и в нашем, молодом «Кружке Поэтов», активным членом которого была и я, — а в другой меня часто приглашали.

У нас Набоков читал стихи, в кружке Айхенвальда — прозу, иногда — доклады. Помню его доклад под названием «Торжество добродетели» — о советской литературе. Уже тогда, в 20-х годах, когда сияли еще имена Булгакова, Ахматовой, Пастернака, Бабея, Зощенко, — Набоков один из первых угадал, что русской литературе скоро придет конец, что власть наступила ей на горло. С ним спорили: нашей словесности цензура не в новинку, русские писатели привыкли высказываться между строк. Но прав оказался Набоков, — у него было, может быть, меньше аргументов, чем у других, — но больше интуиции.

Читал он в этом кружке и отрывки из своего первого романа, «Машенька», — и вызвал общее шумное одобрение. «У нас появился новый Тургенев», — воскликнул тогда Ю.И. Айхенвальд. Конечно, это было ошибкой, — Набоков к тому же Тургенева не слишком жаловал, насмехался впоследствии над его «тет-а-тетами в акатниках», — но в «Машеньке» очень заметно влияние классической литературы.

В кружке Айхенвальда были писатели, известные еще в России, а в нашем «Кружке Поэтов» преобладала молодежь — и тон заседаний был другой: собирались на частных квартирах, ели пирожные за чайным столом и часто с увлечением спорили. В. Набоков и В.Корвин-Пиотровский у нас считались «мэтрами»; их авторитет признавали.

И Набоков, впоследствии так яростно нападавший на общепризнанных больших писателей, уверявший, что Достоевский — наш лучший автор детективных романов с оттенком мистики, или что «скоро кто-то придет с молотом и трахнет, как следует, по Бальзаку, Горькому, Томасу Манну», — к нашим начинающим поэтам и писателям относился дружески-снисходительно, — что, конечно, не требует пояснения. Но иногда все же не мог удержаться от злой насмешки. Был у нас пожилой писатель М-ич, писавший по старинке и к тому же довольно вульгарно. И Набоков, критикуя его рассказы и делая вид, что их цитирует, выдумывал такие фразы: «это была роскошная женщина... Ее дивные выпуклые формы...» Нельзя было не смеяться.

Ко мне, должна сказать, он был очень добр. В те годы я печатала в «Руле» рассказы о русском детстве, об эмигрантской жизни, которые нравились читателям. Набоков их тоже одобрял. Помню, как-то я прочла в кружке рассказ о неудачном самоубийце и, говоря о револьвере, упомянула слово «собачка». — «А что это такая за собачка? — коварно спросил Пиотровский. — Можете ее описать?» Но Набоков поспешно на него замахал: «Оставьте, пожалуйста, не приставайте!»

Встретаться с Набоковым «в гостях», в частном доме, — чаще всего у той же Р. Татариновой, — было гораздо интереснее, чем на собраниях кружка. Иногда он приходил поздно, позже всех, говорил: «Расписался, не заметил, как пролетело время», — и выражение у него было рассеянное, отсутствующее; он был еще не с нами, он думал о недописанной странице. Часто работал по ночам, — в те годы романы и рассказы следовали одни за другими. Но и тогда уже у него была страсть к игре слов, к игре со словами. Раз, рассказывал он нам, ему вздумалось сочинить палиндром (строки, которые читаются одинаково и слева направо, и справа налево).

Уж и первые три строчки дались ему нелегко:

Рвал Эол алоэ, лавр

Те ему: «Шш... Ишь, умеет

Рвать!» Он им: «Я — Минотавр»...

Четвертая строка никак не получалась. Он промучился над ней полночи, пока его жена, проснувшись, не сказала ему, что по ее мнению от такого занятия мало практической пользы. Ему пришлось согласиться — и палиндром остался незаконченным.

Любил иногда выдумывать игры: «Смотрите две минуты на эту картину, а потом закройте глаза и расскажите, что «запомнили». Конечно, он один был способен по памяти восстановить картину, не забывая ни малейшей подробности. Память, особенно зрительная, у него была исключительная, — и он даже признавался, что она ему мешает иногда, загромождает сознание.

Его часто упрекали в излишней гордости, в «высокомерном задоре», в снобизме. В этом была доля правды, — но мне уже тогда казалось, что его надменность была своего рода «защитной маской», как сказал кто-то. Молодость Набокова была нелегкой. После счастливого барского детства, всеми избалованный, ни в чем не знавший отказа, он оказался на положении бедного эмигранта, а после трагической смерти отца — главой большой семьи, роль, для которой он не был создан.

Добрые друзья принялись хлопотать, нашли для него место в банке: В. Набоков ходил туда недели две, а потом просто перестал ходить, никого не предупредив: так ясно было ему, что он не мог продать свой драгоценный дар за гроши. Он кое-как перебивался — уроками английского языка, теннисной игры; раз, рассказывал он мне впоследствии, поместил в газете объявление: «даю уроки просодии», — но ученик нашелся только один: секретарь нашего кружка, поэт Михаил Горлин.

Много лет спустя, в Париже, после его возвращения из Америки, я увидела изменившегося Набокова: раздобревшего и подобревшего. — Вы теперь стали похожи на маститого русского писателя, В. В., — сказала я ему. — Что, постарел? — Нет, но у Вас другое выражение, чем было в Берлине. — В Берлине я был «пшют», — сказал он, — все дело в возрасте.

А я подумала: нет, не в возрасте, а в изменившемся положении. Теперь он был прославленным на весь мир автором «Лолиты» — и защитная маска была уже не нужна.

О творчестве Набокова, о его месте в русской и всемирной литературе будут, конечно, писать еще много; мне же хочется упомянуть здесь лишь об одной теме: теме русской земли.

С какой блестящей живой отчетливостью, как точно описаны в «Машеньке», в «Защите Лужина», даже в позднейшем «Даре» родные места: имение, парк или зимний Петербург. Но вот в «Бледном Огне» Россия превратилась уже в какую-то отвлеченную «Землю», тамошние события — пародия на русскую революцию, а в «Аде» автор произвольно сочетает отрывки времени и пространства, — и в искусственной «Амероссии» мы уже не узнаем России: это осколок собственного зеркального мира Набокова, от которого веет холодом.

Нет, конечно, своего русского детства он не забыл, — но пролетевшие годы вычеркнули подлинный облик России, — и в этом, может быть, трагедия Набокова.

О его связи с родной землей говорит одно стихотворение, написанное в конце 20-х годов, если не ошибаюсь — нигде не напечатанное и прочитанное однажды в нашем кружке:

Мою ладонь художник строгий
Разрисовал: здесь все твои
Большие, малые дороги,
А жилы — реки и ручьи.
Слепец, я руки простираю
И все живое постигаю
Через тебя, страна моя,
Вот почему так счастлив я.
И если правда, как намедни
Мне померещилось во сне,
Что час беспечный, час последний
Найдет меня в чужой стране,
Как на покато́й школьной парте
Совьешься ты, подобно карте,
Как только отпущу края, —

И ляжешь там, где лягу я.

- Почему «беспечный»? — спросил — как сейчас помню, Пиотровский.
- Потому что последний. Нет больше ни печали, ни забот...

Печатается по изд.: «Русская Мысль», № 3184, 20.XII.1977 г.

Об авторе заметки:

КАННАК (урождённая Залкинд) Евгения Осиповна (7/20 ноября 1903, Санкт-Петербург - 18 декабря 1986, Париж, похоронена на кладбище Монпарнас). Литературовед, театральный критик, переводчик. Мать *И. Каннака*. В 1919 эмигрировала из Москвы в Вильно, затем в Германию. Участвовала в заседаниях Берлинского кружка поэтов. Во Фрайбурге защитила докторскую диссертацию о декабристах (1928). Сотрудничала в журнале «Наш век», газете «Руль» под псевдонимом *Аленина*. В 1933 переселилась во Францию, жила в Париже. Печаталась в газетах «Последние новости», «Русская мысль» (1968—1983), журналах «Новый журнал», «Мосты». Переводила на французский язык пьесы Н.А. Островского, А.П. Чехова, М. Горького, произведения *В. Набокова*, К. Паустовского, А.Н. Толстого и др. Автор первого перевода на русский язык романа Ф. Кафки «Процесс». В 1981 издала работу (брошюру с фотографиями) «Nicolas Evreinoff en France». В 1992 в Париже был издан посмертно ее сборник «Верность» (воспоминания, рассказы, очерки).

(Источник: *Российское зарубежье во Франции 1919-2000*. Л. Мнухин, М. Авриль, В. Лосская. Москва. Наука; Дом-музей Марины Цветаевой. 2008.)

